

Александр Левитов

**Погибшее, но милое  
создание**



Александр Левитов

**Погибшее, но милое создание**

«Public Domain»

1862

## **Левитов А. И.**

Погибшее, но милое создание / А. И. Левитов — «Public Domain», 1862

«Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того, собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором – мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа – о девственности московских улиц...»

© Левитов А. И., 1862

© Public Domain, 1862

# Содержание

I	5
II	7
Конец ознакомительного фрагмента.	9

# Александр Иванович Левитов

## Погибшее, но милое создание<sup>1</sup>

### I

Америка имеет девственные леса, девственную почву, а Москва имеет девственные улицы. Говорю о таких лесах и таких улицах, где ни разу не бывала нога человека. Я, по-настоящему, должен был бы показать, каковы именно эти леса, для того, собственно, чтобы читатель знал, как именно думать ему о девственности московских улиц; но в первом случае я рекомендую ему романы Купера, а во втором – мой собственный рассказ, и результат этой рекомендации будет таков, что из романов Купера он почерпнет настоящее понятие о девственности американских лесов, а из моего рассказа – о девственности московских улиц.

Во время моего первого знакомства с Москвой меня всего более поразило следующее обстоятельство. Идешь, бывало, по широкой, людной улице и видишь, что на каждом пункте ее кипит та деятельная, столичная жизнь, которая, как известно всякому мало-мальски порядочному фланеру-наблюдателю, заставляет любопытных провинциалов останавливаться чуть ли не на каждом шагу и смот-ить на ее суету с неприличным даже раскрытием рта. Так вот, говорю, идешь по такой улице, и постоянно тебе мечутся в большие глаза эти чудачки, до глупости заинтересованные разыгрывающеюся на ней ярмаркой столичного тщеславия, до болезни глушит тебе уши грохот экипажей, и так это всего тебя распалит и разозлит эта «людская молвь и конский топот»<sup>2</sup>, что, натурально, озлобляешься против этого ничем не смущаемого зеваки.

«Эдакой балбес!.. Чего он тут зеваает? – с какою-то злобой думаешь про любопытного. – Так спокойно загородил тротуар, как будто он устроил его исключительно для своего удовольствия».

Но не в этом дело. Главная сила вот в чем: оглушенные страшным шумом одной из главных улиц столицы, вы вдруг совершенно неожиданно, как бы по воле могучего чародея, переноситесь из этого места будто за тридевять земель. Так велика бывает разница в жизни московских местностей, находящихся в самом близком соседстве, что, перешагнувши иной раз из одной улицы в другую, вы только возможностью волшебства объясняете себе эту странную перемену домов, людей и даже самого климата.

Разозленные грохотом экипажей, навязчивостью разносчиков, неотразимыми претензиями на вашу щедрую милостыню тьмы темных личностей, извозчиками, которые, как будто с намерением, злят ваше плебейство титулом сиятельства, наконец, полным счастьем восторгающегося всеми этими прелестями провинциала, вы кисло морщитесь, поворачиваете направо или налево – и декорация в мгновение ока окончательно изменяется.

Пред вами уже не те изумительно грандиозные четырехэтажные дома в половину квартала, невольные заставляющие вас, при взгляде на них, раздуматься: обыкновенными ли человеческими силами строили их владельцы или они прибежали в этом случае к каким-нибудь волхвованиям?.. Таких палат, говорю, нет и в помине.

Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками, дающими вам неотъемлемое право предполагать, что за ними скрывается бедное, но благородное семейство, – с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепою собакой, равнодушной ко всему окружающему и глубокомысленно молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У

<sup>2</sup> «Людская молвь и конский топот...» – Неточная цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава 5, строфа XVII).

лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками знаменательно заложенными за спину. На губах его сияет улыбка. Из окна, противоположного лавке, его высокоблагородие Роман Ефимыч, отставной майор и кавалер из палочной академии, «вежливенько», как бы и своего брата майора или титуляра, приглашает лавочника на чашку чаю. На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такую будкой.

В подобных улицах только и есть эти два пункта, откуда еще проглядывает жизнь. Остальные точки их решительно необитаемы и безжизненны, следовательно, девственны. Дальше слышно и видно только, как наследственные деревья, осеняющие гвоздистые заборы, дремотно качают верхушками и тихо шуршат листьями. Мертвая, ничем не прерываемая тишина и молчание самое усыпляющее завершают картину...

Почва этих, редкому смертному известных стран должна быть очень плодородна, потому что вся весьма тщательно удобрена всеми принадлежностями, негодными в хозяйстве: старыми, дотла изношенными подошвами, золой и разного рода, весьма легко поддающимися гниению, остатками от некогда, по всем вероятностям, пышных одежд. Распаханная неизвестно когда и неизвестно зачем проехавшими тут колесами, почва представляет все возможности прозябать на ней разной травке, достаточно высокой для того даже, чтобы в ней резвились и прятались разношерстные котята.

Приехавши в столицу из глубины степей более или менее откормленным парнем, я некоторое время был объят глубокою тоскою по родине. Эта тоска усиливалась до тяжелой болезни, когда, бывало, городской шум прерывал золотую цепь моих представлений о тишине степей наших, о их могущественной красоте, о их, наконец, своеобразной, неприметной для постороннего глаза жизни, которая в неисчислимо количество раз казалась мне тогда и деятельнее, и разумнее жизни, так возмущавшей своим громом мою степную натуру против столичной деятельности.

И вот когда я в первый раз, случайно, попал в одну из девственных улиц, когда я увидел за забором одного домика развесистую яблоню, а на улице невыполотую траву, в которой играли котята и чирикали молодые воробьи, когда я почуял в воздухе нечто напоминавшее аромат степи, я почувствовал к этим улицам, необыкновенную слабость. В их успокаивающей тиши очень скоро проходила хандра от отношений и обязанностей, которые неумолимо принуждают меня выполнять городская жизнь; поэтому вот уже несколько лет брожу я по этим улицам, ищу их близ застав, в Замоскворечье, ищу в сердце Москвы, и я даже открыл такую местность, которую сами обыватели не могли назвать мне. Недавно только, когда я изучал прилегающие к ней улицы, со мной встретился необыкновенно дряхлый старец, который сказал мне, что место это называется «Марьиной слободкой», что это очень хорошее место, потому что живут они себе здесь тихо да смиренно, ровно у Христа за пазухой.

Теперь я очень хорошо познакомился с этим стариком. Мой новый знакомый, когда я проникнул к нему в гости, представил меня другу своему, зашивальщику, тоже старику, живущему с ним на одной кровати, и потом уже на именинах у старика-зашивальщика я самым тесным образом сблизился с одним удивительно искалеченным ветераном и с соседом-будочником. Будочник, в свою очередь, обязательно пригласил меня к себе на именины.

– Смотрите же не забудьте, сударь, третьего числа, – говорил он, прощаясь со мною. – Пророчица Анна и Симеон Благоприимец: это и есть мой ангел.

Таким образом, третьим февраля и начинается мой рассказ, характеризующий девственность московских улиц.

## II

Только моя необыкновенная страсть смотреть, как поживают на белом свете разные добрые люди, заставила меня ехать «к черту на кулички» – на именины к будочнику. Мороз был необыкновенный; треск промерзнувших крыш и заборов нарушал в этот раз мертвое молчание, обыкновенное в девственных улицах.

По приметам, сообщенным мне новым знакомым, я узнал дом, в котором квартировало его семейство. Маленькая, отощавшая собачка звонко ответила на скрип калитки, произведенный мною; ей откуда-то из угла отозвались куры сонным, продолжительным воркотаньем. Какой-то человек в мерлушечьем халате, с кокардой на фуражке, вероятно хозяин дома, пользуясь ночью темнотой, – нисколько не компрометируя значка, рекомендовавшего его благородную породу, мел двор.

– Кого тебе? – сердито допросил он меня.

– Знакомого одного: будочником в здешнем квартале служит.

– Служит?! Разве будочники служат?.. Служат только чиновники... Вон, ступай наверх.

Собачонка, тая от злости, подкатывалась мне под ноги. Мерлушечий халат ожесточенно прикрыл ее своей страшною метлой.

Я отворил тяжелую дверь, сколоченную самым медвежьим образом из толстых дубовых досок. За дверью царил непроглядная тьма; где-то вверху раздавались громкие голоса; плач охрипшего ребенка смешивался с гармоникой и с разухабистою песней.

Наконец я отыскал ступень лестницы и, с твердою верой в благодать providения, полез куда-то. По мере моего приближения к небесам гармоника становилась слышнее, и я уже явственно слышал слова песни. Это был лихой хорей, сложенный, вероятно, поэтом-закройщиком и производивший в гостях гомерический хохот. Мне даже слышно было, как певец, окончив куплет, извинялся перед кем-то.

– Извините-с! – доносилось до меня. – Из песни слова не выкинешь. Ха-ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха-ха! – раздавалось во тьме, охватывавшей меня. – Не выкинешь: это точно. Того складу не будет, ежели выкинуть. Валяй всю!

– Ничего, ничего. Пойте, – отвечал на извинения певца женский голос.

Гармоника снова сделала несколько аккордов, как будто умирал какой-то самый бесшабашный удалец и при последнем конце своем захотел потешить отлетающую душу самую любимой, самую удалой песней. Вот из ослабевшей груди вылетели две-три ухарские ноты, шутившие над смертью, и замерли вместе с веселою жизнью. В тот самый миг, когда следовало окончиться последнему аккорду, певец вдруг подхватил его своей оригинальной, хореической поэмой, и снова темноту, в которой блуждал я, прорезал музыкальный поток слов, возбуждавший новый хохот со стороны публики и вызвавший новое извинение со стороны певца.

Зная очень много всяких народных хореев и ямбов, я, тем не менее, с большим наслаждением слушал эту песенку. Она представляла для меня всю прелесть новизны как по своим мотивам, так и по содержанию. Первые, будучи необыкновенно однообразны (они состояли из одного вздоха, безустанно продолжавшегося во все четыре строфы каждого куплета, – такого вздоха, который, прерываясь каждую секунду и, следовательно, ослабевая в конце, каждую же секунду с новою силой вылетал из здоровой груди), удивительно варьировались гармоникой. Последнее же, повествуя о похождениях некоторой вдовы, деревенской барыни, отличалось той крупною русскою солью, которою так забористо просолены наши доморощенные поэмы.

Облокотившись на какую-то стену, я выслушивал неимоверно забавные приключения вдовой барыни, и передо мною уже понемногу начинали рисоваться и одинокая глухая деревня, и ее безответная улица, наивно названная мужиками *красною*, – весь этот мирный быт далекого захолустья с каждою минутой яснее и яснее вставал в моей голове, и издали чуял уже

я, как в конце улицы показалась эта барыня-домоседка. Бойко несет она свою благородную голову, храбро задравши ее к светлому небу, и крик ее, разносясь по всей красной улице, до самого основания возмущает всегдашнюю тишину последней. Я начинал уже видеть барыню действующею в тех комических событиях, которые рассказывались и песней, и гармоникой, как вдруг стена, о которую я опирался, не выдержав моего напора, с скрипом валится набок; я лечу вместе с ней и отчаиваюсь в моей драгоценной жизни, но, благодаря богам-хранителям, оказалось, что это была не стена, а просто дверь, отворявшаяся внутрь.

Я ввалился в комнату или, лучше сказать, в какую-то пещеру. Огромная русская печь и кровать занимали пять частей пещеры. На лавке, противоположной кровати, подле крошечного стола сидели две женщины. Человек шесть мужчин необъяснимым образом лепились около кровати, на которой не то сидел, не то лежал певец с гармоникой – молодой солдатик. При всем старании публики потесниться и дать мне пройти, я с трудом освободился от кулька, в котором, зная родные обычаи, привез имениннику штоф Руже и приличную закуску, чем (объясняя это символическое обыкновение) я как бы желал и даже давал ему некоторое право на пользование благами еще смачнейшими.

– Напрасно беспокоились, – говорил именинник, принимая от меня кулек, который в момент снискал мне расположение всех гостей.

– С ангелом! – приветствовал я. – Примите, не побрезгуйте.

С меня насильно стащили шубу, которую было хотел я снять сам, и посадили к дамам. Ко мне подвели маленькую девочку и строго, с подзатыльниками, приказывали ей поцеловать у дяденьки ручку. Охрипшею, простуженною грудью, ровно треск маленьких стенных часов, девочка прохрипела:

– Дяденька! Пожалуйте ручку.

Я поцеловал бедное дитя, осужденное родиться в пещере с промерзшими стенами, среди атмосферы, неминуемо влекущей молодую жизнь к раннему гробу, и в колыбели уж обреченное страданиям. В глубине души моей я благословил это дитя всевозможных нужд на добрый труд в бедной жизни, на силу бороться с соблазном, который щедро рассыпается в подобных приютах праздностью и бессердечием молодых и старых богачей.

Я осмотрелся. Совершенно обледенелое окно пещеры, разогретое самоваром, как-то особенно грустно слезилось. От него и промерзнувших стен, тоже согретых и именинным испом печи, и дыханием гостей, шли волнистые седые пары, наполнявшие всю комнату. Единственную сальную свечу, горевшую на столике, особенно густыми клубами накрыли эти пары, отчего она разливала по пещере слепой, ненастный свет, сообщавший всем предметам какой-то седовато-убогий цвет.

Прежние приятели мои – зашивальщик и искалеченный ветеран – грустно уединились в самую темноту к печке, широкое отверстие которой, сияя во мраке, делало из них как бы волшебных стражей заколдованного входа в подземное царство. Нисколько не вмешиваясь в общий разговор, они серьезно и терпеливо ожидали, когда наконец дойдет до них очередь принять из рук хозяина рюмку и, пользуясь этим случаем, пожелать ему от бога всяких благ – душевных и телесных. Они, очевидно, были в загоне, то есть внимание на них почти не было обращено, потому что очередная рюмка доходила до них после всех. Высокий старик, отставной фельдфебель с брововыми усами и подковообразными бакенбардами, убедительнейше приставал к каждому гостю, чтоб он одолжил ему заимообразно до завтра гривенник, который он хотел подарить хозяйскому ребенку. Молодечки повертываясь на каблуках от одного гостя к другому, он уверял всякого с какою-то, так сказать, воинскою энергией, что такой милой и умной девочки он сроду еще не видал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.